

КОГЕН Г.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД

...Задачей Канта является, прежде всего, проверка и характеристика познавательной ценности и основания достоверности ньютоновского естествознания, которой (задачей — В.Б.) он задался при угрозе опыту. В разработке этой, таким образом обозначенной задачи, вслед за Ньютоном Кант прибегает к собственному использованию опыта сенсуалистического оружия, так и для того, чтобы предотвратить перегибы сенсуализма, так также и для того, чтобы через признание правомерной сути в ощущении совершенствовать интеллектуализм. Ибо эта суть имеет неоспоримое преимущество, поскольку она, по крайней мере, не отправляет к случайности представлений законное основание знаний, а отмечает в качестве причины, законного основания духа; и эта точка зрения является общей для всех творческих рационалистов при более тонких различиях в отдельном. Но для придания ей значимости и плодотворности недостаточны ни апелляция к *intellectus ipse* (самому интеллекту — В.Б.), ни снисходительность в отношении ощущения и чувственности. Только собственная работа над проблемами математического естествознания и изучение его достойных авторов могла привести к пониманию его оснований и предпосылок. Сама Германия не была лишена человека, который связал философскую спекуляцию с величайшим и широко распространившимся исследованием: в течение всех периодов своей деятельности Кант обстоятельно обращался к Леонарду Эйлеру. Хотя и в меньшей степени, но вполне заслуженно с обеих сторон и в теснейшей связи с Кантом находится далее Ламберт. Но более важным и более решающим было с самого начала и остается отношение к Ньютону. Трансцендентальный метод возник в размышлениях над «*Philosophiae naturalis principia mathematica*».

У самого Ньютона термины, которыми он пользуется, делают исход философских понятий уже очевидным. Пространство, время, движение, масса, причина, сила, инерция называются и объясняются

Ньютоном, и в них обозначаются основания физики. Определения, законы движения, как и *Regulae philosophandi* (правила философствования — В.Б.) уже внешне указывают на подобные предпосылки, как решительно Ньютон всегда подчеркивает мысль, что он исследует явления, формулируя их законы и отклоняя, напротив, гипотезы, которые должны были придавать этим законам основание. Между тем сами явления покоятся на тех предпосылках в дефинициях и трех *Leges* (законам — В.Б.) предпосланных понятиях. Таким образом, основание явлений со всеми их законами находится в конечном итоге в тех основных понятиях. Являются ли они только гипотезами, которые физика должна избежать, или они являются предпосылками, которые для их пользы отличаются от «скрытых качеств» и от гипотез «картезианцев», выдвигаемых Котсом? Если благодаря какому-нибудь фактическому доводу «воспоминание» Юма может быть успокоенным и завершенным, то это могло бы стать возможным только благодаря тому, что законы и причины движения, которые устанавливает Ньютон, имеют более глубокое основание, как если бы они покоились в ассоциациях привычного опыта.

Итак, чтобы открыть основания науки, Кант ссылался на открытие самой науки и на ее представление, в последней инстанции — на ньютоновскую систематику принципов. Но нужно ли полагать, что он должен был учиться у авторов и у самого Ньютона тому, что было в их открытиях иницирующим и также действенным основанием? Должны ли быть приняты во внимание мерцающая лампа в церкви Пизы и падающее с дерева яблоко в том английском саду как знаки для основания научного открытия, если речь идет об его истине, если речь идет о правовой основе, а не о психологическом побуждении? Или нужно оставаться при самих определениях исследователей, если в этих определениях говорит уже не исследователь, а философ? Как же Канту удалось прийти к своему трансцендентальному методу, если он, хотя и ссылался на факты науки и их литературное представление, но, с другой стороны, мог и должен был при проверке, обозначении и формулировании тех оснований остаться от них независимым?

Вопрос, кажется, может содержать ответ в самом себе: Ньютон как систематик своей науки является не более и не менее чем философом. Понятия, которые он предпосылает, являются философскими понятиями. И не только Ньютон, но и основоположник этой «новой науки» Галилей при любой убедительной апелляции к опыту и наблюде-

нию признал и обнаружил содействие спекулятивного элемента, философских предпосылок еще определенной, чем Ньютон. Так можно было бы действительно полагать, что Кант нуждался в том, чтобы принять во внимание только те отмеченные понятия, чтобы на них спроектировать и испытать свой метод. Собираение и проверка тех понятий, которые от Галилея до Ньютона частично открыто дискутируются, частично латентно признаются, могло бы казаться простой задачей философского метода.

Между тем, метод ни в коем случае не есть перевод основных понятий из исторического определения в философское пояснение. Определение само должно быть побуждаемо и открываемо историческим пониманием; но оно нуждается в собственных философских проверках, прежде чем еще может начаться пояснение. И уже в этих приготовлениях состоит сложность трансцендентального метода. Если бы понятия, на которых покоится правовое основание познания, предлагались в определенном фактическом содержании, то, право, не виделось бы, что философии с ее стороны вообще остается делать. Если бы законы падения предполагали философское понятие инерции, то философский метод при этом довольствовался бы тем, что изложил бы эту проверку на примере; в чем бы тогда состояла ее самостоятельная и только ей свойственная работа? Но с другой стороны, философское исследование не должно эмансипироваться от фактов исследования, чтобы не стать несовершенным и лепечущим. Между тем, следующее испытание самонадеянно разрушило все то, что не провозглашалось как вечная истина, врожденная идея, несомненное свидетельство духа. Должна ли философия довольствоваться тем, чтобы прокламировать элементы познания, которые, соответственно, смена эпох выделяет в качестве постоянных факторов? Против этого недальновидного мнения говорит уже факт, который следует очень серьезно обдумать: что очень мало новых основных понятий было открыто; что мы во всех наших методах и результатах оперируем главным образом и преимущественно теми же основными понятиями, которые нам передали греки, наши ученые наставники. Таким образом, задача философии находится гораздо глубже, чем, если бы она заключалась в подобном относительном анализе того, что данный анализ нам так широко преподнес.

Но здесь возникает другая трудность, которая может одержать верх над трансцендентальным методом. Можно полагать, что не в основа-

ниях, которые исследователь сам себе предпосылает и как таковые обозначает, чтобы овладеть правовыми основаниями познания и стать уверенным — об их виде и количестве все же идет спор между исследователями; но в глубинах духа и разума, в истоках мышления должно бы, как думается, стать открываемым то, что должно иметь силу как источник и защита науки. Но что значат все эти выражения о духе, разуме и мышлении, как они использовались со времен Парменида и Платона, но вскоре также ставшие употребляться превратно? С апелляцией к мышлению для критического метода возникает неизбежная опасность раствориться в психологическом методе, и вместо того, чтобы измерять ценность познания, описывать его вероятные начала и развитие, выпадающие на период от Платона до Аристотеля.

И все же кажется неизбежным, что философский метод, который исследует ценность познания и для этой цели те самые обуславливающие основные понятия, если и не совпадает с психологическим анализом, то, по крайней мере, его как бы касается, связан с ним. Если все же знания не являются химическими веществами, а являются психическими образами и процессами, как можно, поэтому, обходиться при их исследовании без средств и путей, которые предлагает в их распознавании психология? Если Ньютон, например, предполагает пространство, то за какой вид понятия мы должны его принимать? Но здесь тотчас нам становится противостоящим традиционное различие, является ли оно понятием мышления или продуктом ощущения. Является ли предпосланная Ньютоном причина подобным продуктом или она, как какая-то странность, должна отличаться от мышления? Если мы теперь обратим внимание на предпосланное понятие массы, то возникает трудность, так как в том самом понятии, вероятно, может быть познана сложность обоих видов психической деятельности. Из этих кратких соображений видно, что критический метод кажется непредставимым без психологического. Поэтому сенсуалистические психологи считаются продолжателями Декарта в том, что они обсуждают те же самые проблемы, которые обсуждали Декарт и Лейбниц. Но это все-таки совсем не те же самые проблемы, и при различии тенденций, которое имеет место между рационалистами и сенсуалистами, различие обоих методов можно сделать отчетливым.

Интерес психологии также относительно основных понятий познания является совершенно другим, чем интерес метода, который мы ищем, Локк может, поскольку он действует последовательно, не при-

завать никакого последнего образования сознания, которое он для достижения своей задачи должен сохранять, не разлагая далее. Полноправный интерес психологии представлен в том, чтобы не допускать значимости никаких так называемых врожденных идей, но для всех идей, какими бы первоначальными они не казались, указывать следствия. Благодаря какому посредничеству, благодаря какому соединению представлений мы достигаем понятия каузальности, это есть и остается интересом психологии, так могло бы быть принято и решение о ценности каузальности, как основном понятии опыта. Так же интересу в вопросе, как мы приходим к представлению пространства, через посредничество и связь каких чувственных ощущений, не может повредить никакой другой интерес. Вопросы истории развития с полным правом относятся также и к душевным образованиям. Так кажется, что оба интереса идут бок о бок друг с другом, самостоятельно и равноценно; напротив, казалось, что психологический интерес даже предполагается критическим, поскольку ведь познание является психологическим процессом.

Но дальнейшее размышление должно показать, что психология в не меньшей степени зависима от критического интереса и что она через этот интерес вводилась в определенные рамки. Так к каким элементам возвращает ее анализ? К ощущениям. Но что полагается под ощущениями, как элементами сознания? Ведь потрясение нервов не характеризует сознание. Но что соответствует элементарным движениям нервной системы в сознании? На этот вопрос до сих пор еще звучат разные ответы, в соответствии с гипотетическим началом, от которого надеются исходить при построении сознания. Но английские сенсуалисты оставляли в этом пункте мало сомнений. Они принимали «живые» ощущения в качестве «впечатлений» от вещей, а идеи в качестве «копий» этих впечатлений. Но является ли это еще психологией? Не являются ли вещи и их впечатления скорее понятиями, которые имеют отношение к содержанию и ценности познания, но не к описанию процессов познания? Так мы видим, мнимый психологический интерес оставляет критический шлейф, который является роковым и типичным.

Так как Декарт обозначил как принципиальное заблуждение то, что идея выступает отпечатком вещи, что она, таким образом, из нее исходит. И характерно то, что Декарт, хотя и как методолог, но, тем не менее, и как психолог, воспринимает «материальные идеи» и впечат-

ления вещей в ощущениях. Это имеет место, как если бы фатальный исход, где психология всегда принимает участие, был неизбежен. И так, за впечатлениями кроется критическое предубеждение. Поэтому психология впечатлений не только зависит от того другого вида философского исследования, но и предвосхищает его. В этом состоит неисправимо ненаучное ее начало.

Поэтому рационалисты, которые помогали создавать науку и привнесли в нее важнейшие инструментальные понятия, приняли математический исходный пункт, в котором они видели, посредством каких основных понятий конституируется математическое познание природы. Они только не смогли при характеристике этих основных понятий достичь ясности, и не смогли просто определить отношение мышления к ощущению, *verites de raison* (истин разума — *В.Б.*) к *verites de fait* (истинам факта — *В.Б.*). Сенсуалисты поэтому одержали верх, потому что казалось, что они, по крайней мере, говорят отчетливо и в целом откровенно. Вследствие этого от нового метода, прежде всего, требуется, чтобы он был способен найти это корректное определение. Таким образом, есть проблема, которая заключена в слове опыт: связь спекулятивных элементов с математикой и с наблюдаемым ощущением.

Не так легко было философу, просто считывать эти спекулятивные элементы с представлений Галилея или Ньютона, потому что эти исследователи также мало, как и Декарт с Лейбницем, были в состоянии вести эту дискуссию. Таким образом, он волей-неволей вынужден все же, как кажется, для своего собственного отбора элементов познания заниматься психологией; так как речь идет об образованиях, о фактах сознания. Что является в сознании познания ощущением, а что — мышлением, этого нельзя решить, по крайней мере, без психологических дистинкций. Так кажется, что новый метод все же вновь переводится в психологию, если не совсем из нее вытекает. Могли бы быть понят, остерегаясь некритического восприятия производящих впечатление вещей.

Между тем с этим предостережением не посчитались; так как ошибка в исходной позиции распространяется далее. Если мы хотим определить основания, которые предполагает Ньютон, то та психологическая исходная ошибка является прочным препятствием. Мы хотим знать, что означает пространство для геометрии и для осуществляющегося с его помощью естествознания, а Юм отвечает нам психологически, что пространство является идеей, которая возникает из повторяющихся в

ощущениях ярких точек. То есть пространство, о значении которого для познания предметов мы спрашиваем, является копией впечатлений, которые должны проистекать из точек и, таким образом, из вещей. Итак, вещи существуют, и, в сущности, излишне простыми методами исследовать то, благодаря чему они существуют. Они, без сомнения, наличествуют. Скептик направляет свое сомнение куда-то в другое место. Так продолжается ненаучность исходного момента вещей в анализе познания и его оснований. Новый метод, хотя и не может быть лишенным психологического языка, — так как речь идет о производных души, — должен, поэтому, все же делать значимым свой собственный интерес уже внутри психологического анализа, насколько он им занят, должен ослаблять его критическое предубеждение, и, тем самым, придавать самой психологии научный статус.

Так, при анализе тех самых фактов сознания, которые производят познание и если производят познание, должно оставаться внутреннее различие методической тенденции. Из-за этого различия Кант обозначает предварительный способ трансцендентального метода реципируемым термином «метафизический».

И это метафизическое предварительное условие одновременно является корректурой психологического предубеждения. Психологический аналитик должен прежде быть приведен к пониманию, что имеются границы анализа, признать которые является симптомом критической зрелости, и установить которые требует критический интерес.

Мы хотим оба пункта рассмотреть обособленно и, прежде всего, обдумать, насколько признание сущностных границ для психологического анализа является симптомом освобождения от психологического предубеждения.

Весь мир постепенно приходит по поводу этого к осознанию того, что мы не понимаем, что такое сознание, имея возможность постичь его в себе и внезапно. Это очень четко признавал уже Локк, и проблема окказионализма является ничем иным, как выражением этого понимания. Но если постигается то, что мы не можем понять, как приблизиться к тому, что мы, имея сознание, тем самым фактически не дополняем то, что должны быть даны элементы сознания, которые оказывают сопротивление психологическому анализу? Что же другое означает то, что мы не понимаем, что такое сознание, как не то, что мы не понимаем, что есть пространство-сознание, или субстанция-сознание, или каузальность-сознание?

Конечно, это спор о том, являются ли пространство, субстанция и каузальность такими последними элементами сознания. Добавим, что спор может быть об этих особых случаях; но все же нельзя спорить о том, что должны быть даны какие-то последние элементы сознания. Так как общее выражение сознания должно все же мыслиться в каких-то определенностях. Поэтому вполне оправдана задача разложить определенности образованного сознания и реконструировать их из гипотетических элементов, и уже сама эта задача влечет за собой принятие гипотетических элементов, которые должны быть все же непременно элементами сознания, а не могут быть чем-то вроде реакцией нервов. Если мы в конечном итоге сможем раскрыть сознание без остатка, то оно тем самым стало бы постижимым. Как только мы его признаем все же в себе и для себя непостижимым, тем самым мы вводим психологический анализ в непреодолимые границы; или мы мыслили бы сознание в запутанных абстракциях, не осознавая, что каждая *ens* (единица — *В.Б.*) должна стать *quale* (двоицей — *В.Б.*). Если сознание вообще непостижимо, то должны быть непостижимыми и какие-то его модификации. Это, следовательно, знак критической зрелости — воспринимать нерастворимые элементы сознания.

Но это одновременно и потребность критического интереса — утверждать подобные элементы. В этом направлении Кант воспринял термин *a priori*, который был заимствован из всей истории философии, и превратился в ключевое слово у Лейбница, и особенно у его последователей. И хотя *a priori* у Канта, как мы точнее увидим, может выводиться, прежде всего, из его включенности в трансцендентальный метод, обоснование, и тем самым содержание, должно означать и что-то другое, таким образом, все же есть общность с предыдущим значением в том, что в *a priori* как у Канта, так и Лейбница устанавливается элемент познания, остающийся сокрытым психологическим анализом. И, между тем, предварительный способ трансцендентального метода подобным *a priori* устанавливает, отличается ли данный способ этой тенденции и этого результата от психологического исследования. То исследование фактов сознания в познании, которое устанавливает психологическому анализу недоступные, хочется сказать, как *a priori* признаваемые элементы сознания, Кант называет «метафизическим обсуждением». И оно является необходимым предварительным условием трансцендентального.

Теперь можно поставить вопрос, отчего трансцендентальный метод предполагал бы этот метафизический метод, почему критический интерес требовал бы выделения подобных элементов. Нельзя ли было бы познавательную ценность науки определить только тем, что обозначить основания как основания познания, не заботясь о том, являются ли они элементами человеческого сознания? Почему в спор вступают психологи, а не, напротив, сами исследователи, сознательным образом закладывающие в основание необходимо проявляющееся? Сами исследователи признают ведь а priori в подобном истоке оснований; зачем искать а priori в другом, менее относительном смысле? Если я хочу знать, в каких основаниях и предпосылках покоится математическое естествознание, что поможет этому и насколько даже должно быть для этого необходимо, если я познаю, что эти основания, недоступные психологическому анализу, лишены любого психологического рассмотрения развития, являются просто первоначальными составными частями, и поэтому относятся к интересному вопросу, как приблизиться к тому, что необъяснимо, как и само сознание, о котором ведь Локк и Юм признают, что оно почти столь непостижимо, как и материя?

Этот вопрос ведет нас теперь к своеобразному в философском методе, в отличие от исторического ознакомления с теми предпосылками, которые сделаны в трудах известных или заметных классических исследователей; а с этим снова — к сложности критического исследования с психологией, от которой критическое исследование отличается в утверждении а priori.

На чем покоится, собственно, необходимость этого различия, поскольку отказываются от пользы, которую психология может из этого извлечь для своего собственного разъяснения? На чем основывается необходимость признавать такие элементы а priori для цели и приобретения самого критического метода? Почти кажется, будто бы трансцендентальный метод завершается в метафизическом, только его не предпосылая. Кажется, будто бы посредством свидетельства таких элементов философский метод смог, наконец, оправдать свою самостоятельность и своеобразие. Эта видимость обманчива; но то, что трансцендентальное доказательство без метафизического установления не может быть проведено, и даже начаться, нужно прояснить с самого начала.

Если бы было принято именно то, что нет таких своеобразностей сознания, в которых просто запечатлевается характер познания, то след-

ствием было бы то, что мы бы осуществляли в произвольных, или высоко психологически обусловленных комбинациях нашего так называемого познания. Не стоило бы говорить, что я конституирую якобы вещь как воплощение свойств, будь то основная ее черта, что зовется духом или разумом, будь то способ действия, в который она, преимущественным образом, включена, что называется мышлением; но следовало бы сказать, что игра наших мыслей, едва сдерживаемая привычкой, производила мыльные пузыри. И характер самой науки был бы, тем самым, фантазией наших традиционных привычек. Оппозицию априоризму последовательно составляет скептицизм. Вера в значимую ценность науки, поэтому покоится на гипотезе своеобразных элементов и характере познающего, духовного сознания, в которых сама наука имеет свои основания и гарантию. Наука была бы приблизительностью, если бы в комбинациях восприятий и их произволе находилось то, что в ней соединяется; если она коренилась не в основаниях сознания, которые мы можем доказать в качестве оснований анализа недоступных видов и определенностей научного, производящего науку сознания.

Откуда взялись бы те понятия, которые предполагает Ньютон? Предполагает ли он их по привычке его комбинаций, или по определенной приверженности к античной традиции, которая тоже уже поделила те понятия? И Галилей также не смог эмансипироваться от тех понятий, в то время как обычно он яростно борется против своего Аристотеля? И если Юм прав, что те понятия являются привычными добродетелями или привычными пороками, то тогда та ньютоновская наука не покоится ли на произвольных, только на привычке основанных предположениях? Не должны ли, напротив, если наука должна существовать, те понятия делаться значимыми в качестве элементов и оснований познающего сознания, которые находятся по ту сторону любой контролируемой привычки, и образуют в соответствии с этим фундамент и правовой титул науки?

Таким образом, мы видим, что доверие к значимой ценности науки связано с принятием оснований сознания, в которых берет свое начало наука, и в построении которой она продолжает свою историю. От двух опасностей следует, между тем, это принятие защитить. Во-первых, от обозначения и точного определения таких элементов необходимо методически исключить любую догматическую, любую историческую пристрастность. Во-вторых, нельзя членение научных оснований связывать с членением элементов индивидуального человеческого сознания, или

придерживаться чего-то идентичного. Если только возникает вторая опасность, то с ней методически возникает и первая.

Какие заблуждения могут быть связаны с принятием априорных понятий, показывает в достаточной степени история философии и история науки. Что здесь есть основные понятия, должно быть принято; какие — к этому прогрессирующая культура духа приходит с растущим пониманием. Поэтому метафизическое обсуждение ее результатов является относительной, провизорской (временной — В.Б.) ценностью; только его задача и тенденция обладает безусловной необходимостью и имеет достоверную значимость. Достаточна ли нам, например, только каузальность, или нам необходимо еще принятие целевого элемента сознания, — этому в метафизическом обсуждении решения нет. Также мало говорится о том, как следовало бы формулировать основное понятие каузальности, то ли как положение основания, или как то, что реальные изменения как таковые определяются через то самое основное понятие. Остается ли в кусочках воска протяженное как пред-вещ, либо нечто более абстрактное, но более узкое, что, со своей стороны, впервые производит элемент субстанции — об этом метафизическое а priori в себе и для себя не может свидетельствовать.

Это свидетельство впервые предоставляет трансцендентальный метод, чьим принципом и нормой является простая мысль: те элементы сознания являются элементами познающего сознания, которые являются достаточными и необходимыми для того, чтобы обосновать и укрепить факт науки. Итак, определенность априорных элементов ориентируется на это их отношение и компетенцию для фактов научного познания, основанных благодаря им. Если находят, например, что понятие системы является необходимым для науки, является для нее конститутивным, то становится необходимым найти элемент сознания, который в своей всеобщности соответствует этому признаку науки. Так метафизическое обсуждение вливается в трансцендентальное; но ни в коем случае не является там главенствующим. Элементы сознания, как основания науки, должны быть действительными, а предпосылки науки, как основные свойства познающего сознания, следует сделать значимыми. Метафизическое а priori должно стать трансцендентально а priori. Так Лейбниц, очистившись и освободившись от общей софистики Юма, вырастает до укрепившегося в Ньюtone Канта.

Уже кажется целеполагающим предварительно обозначить метод, благодаря которому состоялись кантовские открытия. Если бы сейчас

должно еще спросить, как до этого можно было прийти, что эти двойные анализы так счастливо соответствуют истине, то это был бы вопрос к истории науки, как к сказке. Но потому что, и поскольку наука не является сказкой, удастся в ее основных понятиях, подтвержденных литературно, найти то ни коем образом не чудесное соответствие всеобщим истинам логики, которые с давних пор спекулятивный разум вывел из путаницы мышления. Нет, не из путаницы мышления, а из тогдашних результатов и проблем научного мышления абстрагировала логика свою всеобщность. Эти научные мысли ведут от греков, в конечном счете, от Архимеда, через пропасть средневековья к возрождению наук. И нет никакого чуда в том, что эти самые основные идеи, которые заложили уже греки и вывели свои начала из математики и механики, работают и приносят плоды у Галилея и Ньютона.

И, наконец, не является ли это, действительно, человеческим духом и всеобщим разумом, который как тут, так и там, как в экстракте логики, так и в материнском лоне науки, является тем самым и единственным ферментом? Только он может быть определен не в индивидуальном жеманстве, но в своем преимущественном свидетельстве, в разуме и науке. Тем удивительней, что речь идет о неожиданной корреспонденции логики и науки, как раз наоборот, со скептицизмом. Мечтают о неопределенной, приблизительной необходимости и не находят ее тогда в науке. Если исходят из энтузиазма науки, как сами исследователи и представители дуализма природы, то добродетель усердия направляется на то, чтобы оправдать веру в науку и обосновать ее состояние в ее необходимых и достаточных условиях.

Трансцендентальный метод разоблачает скептицизм как старую неумирающую софистику, которая борется против элементов а priori, против факта и против права, против разума науки. Он оправдывает обращение к науке и к принятию ею неразрешимых, избегающих игры ассоциаций и просто необходимых оснований, как исторически зрелое убеждение в единственности выхода, который философское исследование может получить, и, исходя из которого, может добиться полезного понимания. Сенсуализм имеет своим естественным следствием скептицизм. Интеллектуализм же со своим метафизическим а priori коренится в идее гипотезы, которая привела к науке, которая содержит науку и в ее трансцендентальном методе по виду своей необходимости делает постижимой.

Пер. с англ. В.Н. Белова